

Борис **ДУБИН**

Лицо эпохи

Брежневский период в столкновении различных оценок

*Жизнью человеческих обществ
управляет принцип забывания.
Некоторые факты, а особенно их ауру
и климат, позже не удастся
воссоздать и даже вообразить.
Это относится не только к молодым
поколениям, которые не могут
знать из первых рук.
Участники и свидетели событий тоже
отодвигают память о них от себя
и не уверены, происходило ли это
на самом деле.
Чеслав Милош¹*

*Это время скатали в чулок.
Алексей Прокопьев²*

Уже пять лет назад отмечалось, что ретро-спективная привлекательность брежневского времени в массовом российском сознании не ослабевает³. Тогдашний диагноз вполне подтверждается данными последующих, уже сегодняшних социологических опросов общественного мнения. Приведем распределения ответов на следующие вопросы:

Как Вы в целом относитесь к Брежневу? (в % от общего числа опрошенных, 2001 г., N=1600 человек):

Вариант ответа

В целом положительно (с восхищением, уважением, симпатией...)	44
Безразлично	36
В целом отрицательно (с неприязнью, страхом, отвращением...)	13
Затруднились ответить	7

Когда таким людям, как Вы, в нашей стране жилось лучше всего? (в % от общего числа опрошенных, 2002 г., N=4498 человек):

Вариант ответа	%
До Октябрьской революции	4
При И.Сталине	4
При Н.Хрущеве	3
При Л.Брежневе	49
При М.Горбачеве	4
При Б.Ельцине	2
При В.Путине	22
Затруднились ответить	12

Для сравнения — несколько более ранних цифр⁴. Из общего числа опрошенных 34% в 1995 г. (N=1698 человек) и 36% (N=1691 человек) в 1997 г. признавали, что жизнь в России была лучше всего опять-таки при Л.Брежневе⁵. И тогда, и сейчас имеется в виду вовсе не фигура

¹ Милош Ч. Порабощенный разум. СПб., 2003. С. 53.

² Прокопьев А. Снежная Троя. М., 2003. С. 16.

³ См.: Левада Ю. Рубежи и рамки семидесятых. Размышления соучастника // Неприкосновенный запас. 1998. № 2.

⁴ Более подробные данные о динамике массовых оценок Л.Брежнева и брежневских лет из предыдущих опросов ВЦИОМ, в том числе по сравнению с иными государственными и политическими лидерами России и СССР, см.: Дубин Б. Сталин и другие // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2003. № 1; № 2. Среди молодежи баланс положительных и отрицательных оценок брежневского периода (например, по данным специального молодежного опроса 1998 г.) выглядит примерно как 1 : 1 при 40% ничего не знающих об этом периоде и затрудняющихся с его оценкой.

⁵ Более или менее выраженные положительные оценки эпох, обозначенных именами других лидеров массовых симпатий Николая II и Ю.Андропова, колебались тогда на уровне всего лишь 10%, оценки же остальных практически не выходили за пределы допустимой статистической погрешности. Наиболее отрицательные оценки в 1995 г. (N=1698 человек) были даны эпохам Б.Ельцина, т.е. настоящему (32%), И.Сталина (22%) и М.Горбачева, иными словами, ближайшему прошлому (12%).

главы государства — ее и прежде, и теперь оценивают скорее сдержанно. Так, в 2000 г. (N=1600 человек) 50% опрошенных дали среднюю и низкую оценки роли Л.Брежнева в истории, 60% — его личным качествам, 62% — лидерским способностям. Речь идет именно об обобщенном образе тех лет как воображаемого целого. Временные рамки послехрущевского периода могут при этом очерчиваться различными группами несколько по-разному, однако сами по себе хронологические расхождения не слишком велики и по смыслу достаточно понятны.

Если принять за разметку политический календарь (а в тоталитарных и авторитарных режимах именно он задает циклы и ритмы социального целого), то нижнюю границу периода допустимо привязать к середине 1960-х годов с некоторым заходом на вторую их половину. Значимые точки здесь — празднование в 1965 г. 20-летия победы в Великой Отечественной войне с первой попыткой реабилитации фигуры и роли И.Сталина в торжественной речи Л.Брежнева, которая дала начало пропагандистскому процессу ретроспективной героизации войны¹; процесс над Даниэлем и Синявским в 1966 г., ставший решительным толчком к оформлению правозащитного движения в СССР, практики "подписантства" среди научной и художественной интеллигенции; ввод советских войск в Чехословакию в 1968 г., обозначивший конец либеральных шестидесятнических надежд, утвердивший новый авторитарный стиль руководства в стране и покончивший с просоветскими иллюзиями и симпатиями в кругах международного левого движения. Тогда условную "середину", перелом или перевал, можно приурочить к середине 1970-х годов с их новыми акцентами во внутренней и внешней политике СССР (Хельсинкские соглашения, политика разрядки), во-первых, и высылкой диссидентов, разворачиванием более широкого эмиграционного движения, во-вторых. Наконец, верхний рубеж проходит через первую половину и середину 1980-х годов — между началом войны в Афганистане в 1979 г., смертью В.Высоцкого, "Олимпиадой вместо коммунизма" в 1980 г. и кончиной Л.Брежнева в 1982 г. (с последовавшей затем чехардой политических лидеров страны вплоть до 1985 г.). Сложнее вопрос об оценке самого этого 15–20-летия условных "семидесятих", точнее, о понимании их как *структуры* в ее статике и динамике, во взаимодействии, вза-

¹ См.: Гудков Л. Победа в войне: К социологии одного национального символа // Экономические и социальные перемены. Мониторинг общественного мнения. 1997. № 5. С. 12-19 (особенно с. 15–17); Tumarkin N. The Living & the Dead: The Rise and Fall of the Cult of World War II in Russia. N.Y.: Basic Books, 1994.

имоналожении процессов и сил, различавшихся j по масштабу, направленности, результатам.

Здесь социальному аналитику приходится учитывать как минимум три обобщенные, исторически сложившиеся точки зрения. Они артикулированы в относительно разное время различными группами внутри советского, а позднее российского социума. Эти группы занимали несходное положение в обществе, отбирали, синтезировали, оценивали феномены окружавшего их настоящего или недавнего прошлого в разной перспективе и, так или иначе фиксируя какую-то (по их пониманию) коллективную реальность, шли при этом от разных смысловых ориентиров. Причем необходимость многосторонней оценки, стереоскопичность видения в данном случае не индивидуальная особенность чьего-то исследовательского зрения. Ей по-своему соответствует неоднородность (причем, как будет отчасти показано дальше, нарастающая неоднородность, многофокусность) самой брежневской "эпохи". Кроме того, указание на многосоставность прошлого выступает для аналитика еще и своего рода методологической вакцинацией от той идеологически единообразной картины брежневского ли, иных ли периодов отечественной истории, которая, кажется, опять устанавливается сейчас в масс-медиа и массовом мнении.

Первую точку зрения — официальную газетно-телевизионную идеологию самих 1970-х годов — можно грубо резюмировать тогдашним же заклинательным словом "расцвет". Вторую, едва ли не целиком ей противоположную (смысловым ядром здесь была позиция правозащитников и деятелей "второй культуры" тех же 1970-х годов), очень приблизительно обозначу ходовым слоганом несколько более позднего времени, периода ранней перестройки и гласности 1987–1988 гг. — "застой"¹. Наконец, третья кристаллизовалась в массовом общественном мнении уже первой половины 1990-х годов (к 1993–1994 гг.) и укладывается в ностальгическое представление об ушедшем "золотом веке стабильности и порядка". Что имели или имеют в виду типовые сторонники каждой из подобных оценок, казалось бы, *одного и того же* времени? Какие аспекты коллективной советской жизни, скажем условно, "семидесятих годов" они с разной временной дистанции выделяют и подчеркивают? Убеждая при этом — кого? Споря — с чем?

Официозная оценка на свой лад фиксирует уровень *общего* в тогдашнем социальном и культурном существовании советских людей. Ее ка-

¹ См.: Погружение в трясины: (Анатомия застоя). М., 1991.

зненно-отчетный характер сейчас понятен, как не был он, впрочем, особенно уж скрыт и прежде, — важнее, что она показывает, а что скрывает. Суконными тогдашними словами о "новой исторической общности людей — советском народе" обозначались и опознавались феномены не поверхностные, не выдуманные и совсем немаловажные. К середине-концу 1960-х годов страна стала в массе и в среднем образованной, точнее, грамотной на уровне школы. В среднем и в массе же — городской, вернее, уже не деревенской. Опять-таки в среднем и относительно — благополучной, т.е. имеющей в каждой типовой семье некоторый, пусть очень скромный, достаток без сколько-нибудь серьезного стратегического ресурса и некоторый, пусть очень ограниченный, досуг. Принцип хоть и небольшой, но отдельной квартиры, идея "образа и стиля жизни" для множества семей становятся реальностью именно в этот период. Население, в его большинстве, если и не начало набирать жирок, то все-таки перестало затягивать пояса: дешевый хлеб, пресловутые колбаса и водка, по крайней мере в центре, конечно, не исчерпывают общее достоинство той эпохи, но входят в него неотменимо, а об очередях в провинции и колбасных поездах в Москву тогда если и говорили, то далеко не все и лишь между своими, да и то вполголоса.

Больше того, Советский Союз тех лет стал страной, которая одной ногой как будто вступила в массовое общество — общество массовых коммуникаций, печатных и аудиовизуальных (телевизор), общество быта, цивилизованности, моды, техники и даже "технической эстетики". Элементы импорта в тогдашней городской и столичной жизни, реальные и символические разом (одежда, обувь, мебель, торшеры, бра, люстры вместо прежних одинаковых голых лампочек и оранжевых абажуров, косметика и детские товары из Чехии, Венгрии, ГДР, экзотическая керамика и более качественная радиотехника из Прибалтики) — вещь неслучайная. Они, как и тогдашние "Березки" в крупнейших городах, были, конечно, только вкраплениями, но они *уже были*.

Все эти феномены проступали и накапливались, понятно, не один год. Однако к исходу 1960-х годов они начали давать суммарный эффект. И будь общество 1970-х годов (допустим такое невероятное предположение) более открытым, этот эффект был бы не просто многократно больше. Казалось, он мог бы стать *системным*, перейти в динамическое качество всего устройства коллективной жизни. К тому же в стране несколько десятилетий (тоже с оговорками, но не о них сейчас речь) не было войны — ни обрушивавшейся извне, ни само-

убийственной внутренней. Именно потому и как раз тогда, в те не героические годы, прошедшую "отечественную" (не "мировую"!) войну начали официально и всенародно героизировать, причем этот новый, отретушированный и национализированный ее образ устраивал как верхи, так и низы. От всемирного миссионерства и устрашающей воинственности времен классического сталинизма и "холодной войны" власть перешла, пусть к демагогической и половинчатой, но все же политике разрядки во внешнеполитических отношениях. Ни обожевлением либо демонизацией вождей, ни мифологией великих свершений общество уже не жило, зато и прямого давления на человека стало как будто меньше.

Людей, можно сказать, оставили в покое, как тогда выражались — "дали дышать". Власть и население будто бы приноровились: разошлись по своим углам, поладили на основе взаимной незаинтересованности. Максимализм солженицынского "Жить не по лжи" (1973) не стал и не мог стать жизненной максимой масс, годами привыкавших *выживать*, изворачиваясь и существуя на два ума.

Неугодных государство предпочитало теперь не убивать миллионами, а единицами высылать силой за рубеж или сотнями постепенно выдавливать в эмиграцию (со второй половины 1970-х годов она мерялась уже на тысячи). Даже из сознания выживших, не говоря о более молодых поколениях, стал уходить повседневный страх за себя и близких. Вполне понятно, с чем при этом, в условиях фактической и идеологической закрытости от Запада и отсеченности от более далекого прошлого (общей или хотя бы родовой памяти 1920-х годов, дореволюционных эпох), сравнивал свою жизнь обычный человек, на каком самоубийственном и людоедском фоне советского XX в. вырисовывались для него эти (конечно же, очень относительные, по сути же и вовсе нищенские) достоинства полутора-двух десятилетий и как они, по контрасту, были оценены большинством, чья зрелость (30–40-летие) пришлось на описанные годы. А подобное сравнение каждый средний человек, семья, микрогруппа вели, стоит отметить, ежедневно. Они оценивали свое положение, обобщенно говоря, по двум осям: сопоставляя его со своим же ближайшим прошлым — послевоенным периодом, излетом сталинской эпохи, с одной стороны, и жизнью своих родителей (в абсолютном большинстве жителей насильственно раскулаченной, обранной и бесправной сталинской же деревни) — с другой. Мерой, критерием при этом выступало положение большинства современников — других, но "таких же, как мы", новая

норма, социальный стабилизатор, сдерживающий и нивелирующий уровень начавшей складываться общей привычки, некоего аморфно-коллективного жизненного обихода.

Конечно же, так выглядела лишь одна сторона, *казовая* — феномены внешней однородности и внешнего же единства на уровне "всей страны". За ними подспудным оставался тот факт, что во многом те же перечисленные выше процессы (урбанизация; образовательная крипто-революция, повлекшая за собой новый статус и престиж "интеллигенции"; столь же замаскированные по идеологическим резонам революции досуга и массовых коммуникаций) обострили и проявили *дефициты* советского общества, его системного устройства. Я имею в виду слабость и зависимость составляющих развитое общество групп со своими интересами и ценностями, прежде всего групп лидерских, первопроходческих, а также отсутствие собственно современных общественных институтов — будь то экономических, политических, правовых. Добавлю к этому фактическое убожество тогдашней публичной сферы, зачаточного общественного мнения. Оно должно было бы открыто выражаться на межгрупповом языке, вернее, в гибкой системе различных, общих и специализированных, языков. Должно было бы, но не выражалось, поскольку этих языков, как и самого публичного пространства, не возникало (цену этой немоты пришлось оплатить поздней, уже в условиях гласности).

Вот этот придонный, полузадавленный групповой план взаимодействия людей, соответствующий полупризнанный уровень общества и начал проступать в 1970-е годы. Но проступать в неизбежно и неузнаваемо трансформированном, даже изуродованном виде. Так, будто бы "вдруг" для общественного сознания, дали о себе знать феномены "второй экономики" (начальственного сговора, негласной межведомственной сделки, повсеместного блат, подпольного производства). "Другой политики" (политического, национального и религиозного диссидентства, правозащитного движения). "Второй культуры" ("полочного кино", спецхрановской науки, нонконформистского изобразительного искусства, журнального и книжного сам- и тамиздата в художественной литературе, философии, гуманитарных и общественных дисциплинах). "Крипто-публичной сферы" в городской жизни (квартирное видео, распространение самодельных ксерокопий и машинописей обо всем на свете — от сыродения и теософии до восточных единоборств и сексуальных техник и пр.). Все это "второе", закулисное и непризнаваемое "общество" (не говорю сейчас о "третьем" — эмиграции) включа-

ло, как стало виднее теперь, разные по форме, масштабу и функции социальные феномены.

С одной стороны, здесь так или иначе оформлялись процессы расслоения и дробления общества, его групп, их интересов и ресурсов, которые не признавались, в упор не виделись официальной идеологией. Расслоения доходного, имущественного, властного, а далее связанного и с разными образами жизни, наборами благ и символов. В силу той или иной степени закрытости "большого" общества, как и его локальных ярусов и отсеков, эти различия неизбежно перерождались в систему присвоенных либо прихваченных привилегий, разных уровней доступа к тем или иным ресурсам, включая информационные, не афишируемые, но могущественных связей и пр. Часть подобных отношений, сложившихся в кругах и для обслуживания правящей бюрократии, получала институциональное и в этом смысле "документированное" оформление (ведомственные и региональные продуктовые распределители, книжные экспедиции и др.). Остальные отношения ненадлежащего большинства либо впрямую, но нелегально использовали связи и ресурсы данной закрытой и упорядоченной сферы, либо пытались копировать и пародировали ее устройство (еженедельные продуктовые заказы на предприятиях и в организациях, премиальные талоны к праздникам на всевозможные "спецобслуживание", допуски и пропуски на каждом углу и на что бы то ни было)¹.

С другой стороны, в такой наполовину допущенной или вовсе запрещенной форме пытались заявить о себе, обозначить себя, хоть в какой-то степени реализоваться собственно лидерские, инновационные, поисковые группы творческих интеллектуалов (писателей, людей искусства, философов, историков культуры, социальных ученых), которые отчасти смыкались с более квалифицированными кругами служащей интеллигенции и в той или иной мере поддерживались ею. Здесь опять-таки шел свой процесс расслоения и дробления. В ходе его одни подгруппы или фракции интеллектуального, творческого сообщества радикализировались, а значит, полностью уходили в социальную "тень"²; наиболее радикальные выезжали или вытеснялись за границу, впрочем, граница эта стала теперь не такой уж непреодолимой (люди могли уехать на Запад, информация — радиоголосами и тамиздатом вернуться на Восток).

¹ См. об этом: Левада Ю., Левинсон А. "Похвальное слово" дефициту // Горизонт. 1988. № 10. С. 26-38.

² Подробнее см.: Алексеева Л. История инакомыслия в СССР. Новейший период. Вильнюс; М., 1992.

Другие, напротив, включались в нормальную, системную науку, искусство, литературу, бюрократические структуры, обслуживающие власть различных ведомств и уровней (вплоть до закрытых структур типа шарашек, спецгородов, спецхранов и пр.). Третьи балансировали на грани открытости-закрытости, соединяя институциональную деятельность — плановую, отчетную, переходящую в плановые же, открытые, **цензурированные** публикации, с полузакрытой, типа квартирных семинаров, чтений или выставок, а то и вовсе нелегальной, подсудной — не прошедшие советскую цензуру публикации за рубежом и т.п. ¹

Эти формы интеллектуальной жизни, феномены разных ярусов и отсеков "большого" общества нередко соприкасались, смешивались, переходили друг в друга. Границы разрешенного/запрещенного были зыбки и подвижны. В открытом, развернутом виде они не формулировались и не объяснялись, а потому зачастую перетолковывались каждой стороной в свою пользу. К тому же расслоение в данной сфере шло не только по оси "новое—старое", "пионеры—консерваторы" (первопроходцы—ихвосприимчики и адапторы—рутинизаторы—эпигоны и т.д.), но и по отношению к определенным ценностям и символам. Таким, например, как символы национальной и религиозной принадлежности², ценности познания, гражданского действия и др.

¹ См.: *Эггелинг В.* Политика и культура при Хрущеве и Брежнев, 1953–1970. М., 1999; *Кречмар Д.* Политика и культура при Брежнев, Андропове и Черненко, 1970–1985. М., 1997. На материале словесности и печатной культуры подробнее см.: *Гудков Л., Дубин Б.* Параллельные литературы: Попытка социологического описания // Родник. 1989. № 12. С. 24–31; позднее перепечатано в кн.: *Гудков Л., Дубин Б.* Интеллигенция. Заметки о литературно-политических иллюзиях. М.; Харьков, 1995. С. 42–66.

² Прикровенное оформление, а потом и официальное узаконение державных и почвенно-националистических взглядов на историю России, перспективы СССР и его место в мире происходят в общественном мнении страны именно за 1970-е годы (подробнее см.: *Митрохин Н.* Русская партия: Движение русских националистов в СССР. 1953–1985 годы. М., 2003). Это относится к разным уровням тогдашнего общества — кругам диссидентов (самиздат, письма вождям начиная с солженицынского 1973 г.), журнальной публицистике отдельных идеологических групп ("Молодая гвардия", "Москва", "Наш современник" и др.), массовой аудитории изобильно тиражируемых романов-эпопей (секретарской прозы, начавшей в эти годы не только широко публиковаться, но и отмечаться государственными премиями, сопровождаться кино- и телеэкранизациями). Взаимоотношения и напряжения между разными фракциями интеллигенции, уровнями власти и массы по данному пункту сейчас не обсуждаю, укажу лишь на полемическую, но неразрывную связь национализма с официальной идеологией "новой исторической общности людей" — "советским народом". Отдельной стороной этого процесса выступает формирование как в центре, так и на городской периферии страны радикальных молодежных группировок (территориальных, спортивно-фанатских и др.), в протестном переосмыслении и целях самодемонстрации использующих, в частности, некрофильскую и нацистскую символику.

Кроме того, эти процессы дробления по-своему проходили в центре общества и в его "глубинке", в Москве и в национальных республиках. Наконец, важным их фактором выступал образ Запада, действия и реакции определенных сил, общественных групп на Западе в контексте процессов так называемой разрядки 1970-х годов, включая ширившуюся эмиграцию. Официальные власти, политические, культурные, экономические институты советского общества вступали с данными местными и зарубежными силами, группами в свои отношения, опять-таки двойственные, люди и кружки "второй культуры" — в свои, тоже неоднозначные. И у тех, и у других игра шла, можно сказать, на нескольких площадках, к тому же по ходу дела ее правила нередко менялись. Все эти переплетенные, склеенные, спрессованные явления и процессы в сумме определяли довольно значительную сложность, насыщенность, а для кого-то даже и своеобразное "богатство" социально-культурной жизни во "втором обществе", с точки зрения его членов. Характерно, что позднее многие интеллектуалы не поддержали плоскую, на их взгляд, оценочную квалификацию 1970-х годов как "эпохи застоя"¹.

Наконец, с третьей стороны, на "втором", полулегальном, уровне закрытого советского общества стали складываться элементы опосредующих структур и обменных отношений и внутри данной сферы, а отчасти даже и во взаимодействии с "открытой" сферой. Разумеется, возникающие рынки всевозможных товаров, благ, услуг оказывались при этом "черными" и "серыми". Элементы универсальности, формализации, обобщенной таксации действий участников были в них вынужденными, изменчивыми, непрочными. Однако к концу 1970-х — началу 1980-х годов некоторые из таких "подпольных" форм опосредования разных действий, образов жизни, наборов ценностей и благ советская система была вынуждена относительно, с двусмысленными оговорками и без всяких гарантий стабильности все-таки признать и легализовать в открытой или ограниченно открытой сфере. Так, перечислю лишь некоторые из относящихся сюда разнопорядковых феноменов, заметно развернулась информационная — библиографическая, реферативная и публикаторская — деятельность ИНИОН. Так на географической периферии стали возможны независимые формы научной и художественной самоорганизации (школы, как, скажем, Тартуская; конференции,

¹ См.: Миф о застое. Л., 1991; Семидесятые как предмет истории русской культуры. М.; Венеция, 1998.

например Тыняновские; выставки вроде Малой Грузинской). Так, во многом минуя механизмы идеологической подавленности и прямого цензурного контроля, сложились формы массового книгообмена в магазинах и по почте, а затем — практика приобретения книг в обмен на талоны за сданную макулатуру¹. Так в различных спортивных клубах и обществах, при ЖЭКах и других учреждениях на платной и получастной основе появились секции восточных единоборств, туризма и т.п. Так были разрешены и даже подержаны определенными узкими силами "на местах" отдельные феномены рок-культуры и молодой субкультуры вообще.

Все перечисленные процессы и оставшиеся сейчас не названными феномены, к ним примыкавшие, свидетельствовали об относительно ослаблении и постепенном развале централизованного, военизированного, ведомственно-иерархического общественного устройства советского типа. Свидетельствовали о развале и ускоряли его. Они выступали устройствами по одомашниванию распада, утилизации его продуктов, которые создавали в нем очажки выживания, исподволь подтачивавшие дальше весь разваливающийся механизм. Полученные, присвоенные, случайно доставшиеся или прихваченные ресурсы и формы собственно советских институций использовались группами и слоями социума для других по смыслу отношений, в других функциях. И наоборот, нормы и механизмы функционирования советской системы обрастали качественно другими, непривычными для них формами, иным "человеческим материалом" и пр.

Однако все подобные устройства — сегодня это выявилось с полной очевидностью, хотя границы их возможностей, пределы соответствующего человеческого типа стали ощущаться десятилетием раньше, уже в начале 1990-х годов — были по характеру чисто реактивными и адаптивными. Иначе говоря, зависимыми от системы, которую использовали и одновременно подтачивали. Опыт вынужденного приспособления к навязанным обстоятельствам, по-своему напряженный, для кого-то, не исключаю, увлекательный и даже относительно разнообразный, — вот что вынесло из "семидесятых" большинство людей, которые начали в те годы работать, заводить семью, устраиваться с квартирой, а затем как-то повышаться по службе, обзаводиться "вторым жильем" (дачей, приусадебными участками) и т.д.

¹ См.: *Левинсон А.Г.* Макулатура и книги: Анализ спроса и предложения в одной из сфер современной книготорговли // Чтение: Проблемы и разработки. М., 1985. С. 63-83.

Вместе с тем приходится признать, что все эти феномены были возможны лишь при одряхлении и развале тоталитарной системы советского общества. Они выступали сопровождением, проявлением и ускорением этого распада, растянувшегося на несколько десятилетий и, вообще говоря, не завершеного по сей день. Их конструктивный, тем более инновационный потенциал, был, как выяснилось уже в начале 1990-х годов, далеко не так велик (говоря метафорически, такие устройства, как самодельные "жучки", тем более искусственные клапаны или шунты, могут быть технически даже очень изобретательными и на какое-то время весьма эффективными — только они не способны к самостоятельному существованию и к самоусовершенствованию, развитию).

Главное — в том, что они не породили принципиально новых, автономных форм социального действия и общественной самоорганизации, иначе говоря, — автономных институтов. Тем более, институциональной системы, которая могла хотя бы отчасти продвинуть решение главных проблем, стоявших перед советским обществом еще в его начале, — переходе от чрезвычайщины к обыденности, модернизации базовых систем и гражданских институтов общества, определении места и связей страны в современном мире. Ни узкокружковые формы сплочения и взаимовыручки, ни партикулярные, связи родства, ни рутинная повседневность массового существования на остаточных ресурсах советской социально-экономической машины, балансирования в зазорах и на гранях ее возможностей, допусков и упущений не создают нового, динамичного и системного, общественного качества. До их уровня можно в трудных условиях спуститься, можно, сберегая силы, отступить на их линию, но с нее нельзя стартовать.

Умения устраиваться и выживать, снижая запросы и минимизируя собственный вклад (запасы слишком малы!), не дают и не могут дать основу даже для рывка, тем более для устойчивого роста. Нарращивание и воспроизводство подобных полупризнанных форм социального симбиоза оказалось в конце 1980-х и в 1990-е годы, причем вроде бы в условиях свободы, невозможным. А без них, без опоры на реальные сообщества людей и их действительные коллективные интересы, все волевые попытки обновления страны "сверху" свелись, по большей части, к однократным безрезультатным воздействиям, словесным закланиям и судорожным порывам.

Среди прочего, еще и поэтому массовое сознание отчасти по памяти, отчасти по реакции на непривычность и непонятность социального

мира середины 1990-х годов, отчасти под воздействием масс-медиа и стоящих за ними властных клик стало возвращаться и, наконец, вернулось от словесной поддержки реформ, от воплощавших их фигур и символов, известной героики и даже эйфории на исходе 1980-х годов к ностальгической идеализации брежневских лет. В социальном порядке конца 1990-х годов "вдруг" опознали и признали хорошо знакомый по застойным временам основной лейтмотив поведения — задачу адаптироваться к предлагаемому и безальтернативным обстоятельствам. Как видно, уроки привыкания не проходят и не прошли даром. Такое, в отличие от мучительного, страшного, убийственного, действительно не забывается. И уже с середины 1990-х годов сначала относительное, а затем и абсолютное большинство российского населения, по данным опросов ВЦИОМ, стали считать брежневскую эпоху лучшей в жизни России за весь XX в., выделять самого Л.Брежнева как государственного деятеля, принесшего стране гораздо "больше хорошего, чем плохого", а самым светлым в своей жизни и жизни своей семьи временем называть брежневское.

Сегодняшние оценки брежневских лет, сохраняя прежнюю, "советскую" конструкцию коллективной самоидентификации, сместили вектор и в этом плане выступают своего рода негативом тогдашних. Точкой отсчета, уровнем факта для большинства теперь, по сравнению с собственно брежневскими временами, стала низкая оценка своего сегодняшнего положения, но в еще большей степени — ближайшего прошлого, горбачевского, а особенно — ельцинского периодов. Приведем распределение ответов на вопрос: *"Какой уровень благосостояния Вы хотели бы иметь?"* (в % от общего числа опрошенных, 1998 г., N=1600 человек):

Вариант ответа	%
Как сегодня у большинства на Западе	50
Как в СССР времен Л.Брежнева	36
Затруднились ответить	14

При этом примерно для половины опрошенных фокусом ориентации, по крайней мере в том, что касается благосостояния, стал теперь обобщенный образ Запада. Определилось и направление другого, "своего", "особого пути", доля сторонников которого в конце 1990-х годов колебалась в России при разных формулировках соответствующих вопросов от 34 до 60%¹. Если

¹ Подробнее о нем см.: Мониторинг общественного мнения... 2000. № 6. С. 25-35.

судить по только что приведенным данным, этот вполне мифологический путь, опять-таки примерно для половины опрошенных, ведет в столь же воображаемое советское прошлое. Однако это прошлое, по сравнению с его коллективными образами в сами брежневские годы и в первый постсоветский период, уже иное.

Сознанию большинства, по контрасту с "вдруг" обнаружившимися "недавно" и поныне окружающими людей неразберихой, преступностью, коррупцией и т.п., рисуется уже не классическая сталинская эпоха, когда были созданы основные мобилизационные институты тоталитарно-репрессивного общества, его *система*, а период ее относительного, но мирного *распада*, процесс и продукты которого большинству населения удалось тем или иным образом освоить и использовать. Советское на сегодняшний день, можно сказать, равно не столько сталинскому, сколько *брежневскому*¹. С одной поправкой: эти "эпохи" не исторические данности, а мысленные конструкции, и они не противостоят, а скорее "отсвечивают" друг другу или выступают измерениями друг друга. "Сталинская" эпоха в коллективном сознании несет на себе семантику принудительно-аскетического, но и героического (война!), в этом смысле — *высокого*; "брежневская" — значения относительно устроенного и менее управляемого, бесхозного, даже просто безалаберного, но потому более безопасного и удобного для жизни советских людей, в этом плане — *повседневного, обычного*.

Как бы там ни было, перед нами здесь один из следов перемены в обобщающих оценках *всего* советского прошлого, все большим числом людей оцениваемого и принимаемого теперь как "свое". Таков, видимо, шаг восприятия социальных перемен на массовом уровне, в форме привыкания. Он превосходит размерности одного и даже двух соседних поколений. Это перемены не в умах сверстников В.Ленина или И.Сталина либо их, условно говоря, "детей" и даже "внуков". За понятием "поколение" стоит принципиально другой — по размерностям, носителям, механизмам, смысловым ресурсам — процесс социального взаимодействия и его *группового осознания-опознания*². Со всеми оговорками процесс межпоколенческого конфликта и разрыва можно диагностировать как современ-

¹ Эти последние соображения прояснились и уточнились для автора при обсуждении первоначального наброска данной статьи с А.Береловичем, которому я приношу глубокую благодарность. Его статью см. в следующем номере нашего журнала.

² См. об этом подробнее: Мониторинг общественного мнения... 2002. № 2. С. 11-15.

ный, приурочив его возникновение, осознание, **разворачивание** к начальным периодам эпохи модерности, самому рубежу XVIII–XIX вв. и первой половине XIX столетия. Процессы же адаптации к распаду структур тоталитарного общества, по масштабам *массовые*, но по механизмам чисто *традиционные* (привычка) или *превращенные* из прежних традиций (негативная идентификация и пр.), проходят, как можно предположить, вообще вне сферы **модерных институтов**.

Тоталитарное общество-государство, особенно в его советском варианте, фиксирует и консервирует, сколько может и насколько хватает его сил, принципиальный разрыв между властью и массой. Все остальные его социальные установления только на этом и построены, на это и направлены (**тоталитарный=тотальный**). Разрыв между данными уровнями, допустимо сказать, в социальном плане не обжит, он не "заполнен" исторически складывающейся системой самостоятельных институтов, даже промежуточных и опосредующих. Соответственно, при распаде данной системы по причинам внутреннего, а еще чаще внешнего порядка (но не выходе из нее!) массовая адаптация к эрозии и развалу воз-

можна лишь в негативной и понижающей форме, поскольку в рамках этой негативной конструкции сохраняется базовая система индивидуальной и коллективной референции, самоидентификации и саморепрезентации массового человека тоталитарного (в частности советского) типа.

Процесс адаптации к распаду растягивается в таком случае или случаях на несколько поколений. Фактически это означает, что он недоступен как систематическому индивидуальному контролю, так и сколько-нибудь направленному групповому воздействию — силовому, идеологическому либо иному. Вне системы реально действующих современных институтов, а значит, и без соответствующего антропологического субстрата, без образа, галереи образов самостоятельного и ответственного индивида, которые тоже создаются не одним поколением, всякая воля к разовым переменам сверху, сколь бы благой она ни была и какой бы концентрацией власти ни обеспечивалась (рассчитывать на то и другое, тем более в совокупности, строго говоря, не приходится и вряд ли возможно) только еще и еще раз воспроизведет тот же синдром исторического тупика.